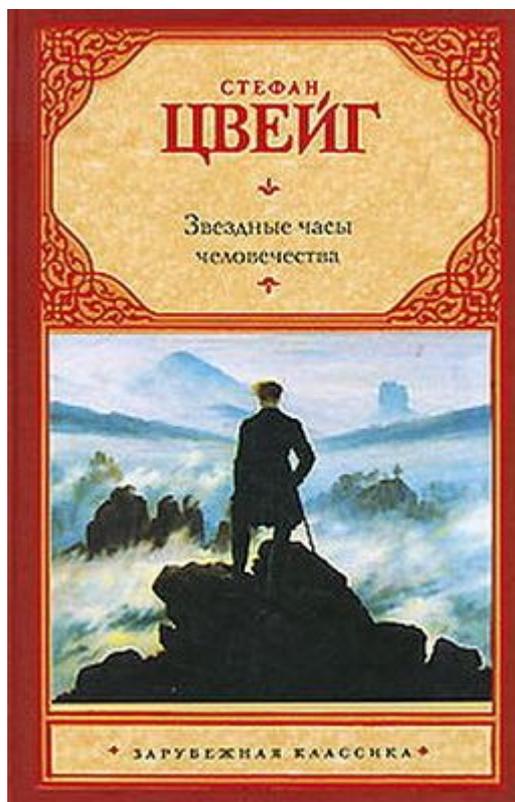


# Стефан Цвейг Цицерон

## Звёздные часы человечества –



«Стефан Цвейг. Звёздные часы человечества»: АСТ; Москва; 2010  
ISBN 978-5-17-065718-6

### Аннотация

*В исторических миниатюрах из цикла «Звёздные часы человечества» Стефан Цвейг рисует эпизоды прошлого, в которых слиты воедино личный подвиг человека с поворотным моментом в истории.*

# Стефан Цвейг Цицерон

Умный и не очень храбрый человек, оказавшийся перед более сильным противником, поступит мудро, если уклонится от встречи без посрамления и переждет, пока не освободится путь. Марк Туллий Цицерон, первый гуманист Римской мировой империи, прекрасный оратор, защитник права, тридцать лет служил унаследованному от предков закону и сохранению республики, речи его запечатлены в анналах истории, его литературные труды написаны чеканным латинским языком. Он ненавидел беззакония Каталины, продажность Верреса, угрожающую свободам римлян диктатуру победоносных полководцев, а труд Цицерона «De republica» («О государстве») был в его время нравственным кодексом идеального государства. Но появилась более сильная личность, Юлий Цезарь, которого он поначалу, ни о чем не подозревая, стал поддерживать как более заслуженного и более уважаемого народом. И вдруг Цезарь, имевший неограниченную

власть над армией, стал со своими галльскими легионами господином Италии. Ему стоило лишь протянуть руку, чтобы получить высшую власть над страной, которую Антоний предложил ему перед всем народом. Тщетно боролся Цицерон против единовластия Цезаря, который, перейдя Рубикон, преступил закон. Тщетно пытался Цицерон призвать последних ревнителей свободы выступить против насильника. Как всегда, когорты оказались сильнее слова. Цезарь, человек духа и дела одновременно, постоянно одерживал победу, и будь он, как большинство диктаторов, мстительным, то мог бы после своей блестящей победы легко устранить или, по крайней мере, не упускать из вида этого упрямого защитника закона. Однако более чем всеми военными успехами Юлий Цезарь дорожил своим великодушием к побежденным. Он дарит своему поверженному противнику, Цицерону, жизнь, никак не унизив его, единственно дав понять, что тому следует уйти с политических подмошков, на которых отныне выступать будет он один, Цезарь,— всем же прочим следует быть только немыми и послушными статистами.

Человеку духа ничто не может быть более по нраву, чем исключение из общественной, из политической жизни; художник, мыслитель возвращается в свой внутренний нетронутый и несокрушимый мир из той сферы, где нет места чести, а правят лишь насилие и коварство. Любая форма изгнания для человека духа является стимулом к внутренней собранности, и Цицерон с радостью встречает это благословенное несчастье. Убежденный диалектик постепенно приближается к старости, постоянные волнения, напряженность жизни оставляли ему мало времени для творческого обобщения всего пережитого. Как много противоречивого за последние годы пережил шестидесятилетний человек! Благодаря присущим его характеру упорству, изворотливости, благодаря духовным своим качествам он, homo novus, выходец из низов, добился всех официальных должностей, всех наград, в которых отказано маленькому человеку из провинции, которые доступны были лишь родовой аристократии. За поражение, нанесенное Каталине на ступенях Капитолия, его глубоко уважали сограждане, сенат увенчал его почетным званием «*pater patriae*» («отец отечества»), а затем, внезапно осужденный тем же сенатом, брошенный тем же народом, вынужден был отправиться в изгнание. Высокие должности, высокое положение были достигнуты им неумолимостью, не знающим усталости трудом. Он вел процессы на форуме, командовал легионами на полях сражений, его избирали консулом республики, проконсулом провинции. Миллионы сестерций прошли через его руки, его руками розданные как долги. На Палатине он владел прекраснейшим домом и увидел его в развалинах, сожженным и разоренным врагами\*. Он написал замечательные трактаты, выступал с классическими речами. Он родил детей и потерял их, был мужественным и слабовольным, упрямым — и вновь угодливым; перед ним многие преклонялись, многие его ненавидели, он имел взрывной, неровный характер, был натурой болезненной и блестящей, в конечном счете — привлекательной, но и вызывающей глубокое отвращение; он стал выдающейся личностью своего времени, ибо был вовлечен во множество важных исторических событий на протяжении четырех десятков лет, эпохи Мария и Цезаря. Как никто другой, Цицерон прожил и пережил события своего времени, события мирового значения, и только для одного — для важнейшего — ему всегда недоставало времени: бросить взгляд на свою жизнь. Этот неумолимый человек в суете своего тщеславия не мог найти времени, чтобы тихо и спокойно задуматься, подвести итог своим знаниям, своим мыслям.

И вот, наконец, во время правления Цезаря, который исключил его из участия в *res publica*, то есть государственных делах, у Цицерона появилась возможность плодотворно заняться *res privata*, то есть личными делами; разочарованный покидает Цицерон форум, сенат, империю диктатуры Юлия Цезаря. Отвергнутым овладевает отвращение ко всему общественному, публичному. Он примиряется с этим, ворчит: пусть другие защищают права народа, те, кто считают бои гладиаторов, другие игры важнее свободы народа, ему же следует теперь искать свою собственную, внутреннюю свободу, найти ее и утвердиться в ней. Так впервые Марк Туллий Цицерон на шестидесятом году жизни, размышляя, всматривается в себя, в свой внутренний мир, чтобы показать миру, ради чего он, Цицерон,

существовал и действовал.

Родившийся художником Марк Туллий Цицерон, лишь по ошибке попавший из мира книг в переменчивый мир политики, теперь пытается выстроить свою жизнь в соответствии со своими внутренними наклонностями, со своим возрастом. Он покидает Рим, шумную метрополию, и отправляется в Тускул, нынешний Фраскати. Дом его расположен в чудесной местности. В мягких, затененных лесом неровностях, холмы спускаются к Кампанию. В отдалении, в тишине серебряно журчат источники. Наконец-то после долгих лет, проведенных на рынках, на форуме, в военных лагерях, в пути, творческая, склонная к созерцанию личность имеет условия, позволяющие полностью раскрыть свою душу. Соблазняющий, утомляющий город далек, всего лишь дымок на горизонте указывает на него, и все же достаточно близок, чтобы изгнанника частенько навещали гости для одухотворенной беседы. У него бывают и внутренне близкий Аттик, и молодой Брут, и молодой Кассий, а однажды приехал — опасный гость — диктатор, великий Юлий Цезарь. А когда нет римских друзей, то с ним рядом другие, чудесные, никогда не разочаровывающие друзья, всегда готовые и говорить, и молчать: книги. Изумительную библиотеку, поистине неисчерпаемый источник мудрости, собрал Марк Туллий Цицерон в своем поместье — произведения греческих мудрецов, римские хроники и компендии законов; с такими друзьями всех времен и всех языков ни одного вечера одиноким не будешь. Утро принадлежит работе. Хозяина всегда ждет грамотный раб, готовый записывать диктуемое. Часы обеда и ужина коротает с ним нежно любимая дочь Туллия, часы занятий с сыном каждый день приносят ему новые радостные волнения и развлечения. А затем — последняя мудрость: шестидесятилетний следует сладостной глупости старости, спит с молодой, моложе дочери, женщиной. Художник жизни наслаждается красотой — не в мраморе, не в стихах, а в ее чувственной и чарующей сущности.

Похоже, что на шестидесятом году Марк Туллий Цицерон наконец вернулся к самому себе. Теперь он философ, но более не демагог, писатель, но более не ритор, хозяин своего времени, а не усердный слуга народа, радеющий о его благе. Вместо того чтобы на рынке выступать против продажных судей, энергично подчеркивая важность темы, он предпочитает убедительно, со знанием дела рассказать своим подражателям об искусстве красноречия в трактате «De oratore» («Об ораторе») и одновременно, в трактате «De senectute» («О старости»), показать человеку мудрому, самому себе, что истинное достоинство старости состоит в том, что она учит покоряться судьбе. Лучшие, наиболее благозвучные его письма относятся ко времени, когда его потрясло несчастье — смерть любимой дочери, Туллии; это потрясение помогает ему овладеть искусством достоинства философа, он пишет те «Consolationes» («Утешения»), которые еще сегодня, спустя сотни лет, утешают многие тысячи людей, переживших подобные несчастья. Лишь изгнание сформировало для благодарных потомков великого писателя из когда-то ловкого, оборотистого оратора. В течение этих трех спокойных лет он написал больше произведений, сделал для посмертной славы больше, чем за предыдущие тридцать, которые он расточительно отдал *res publica*.

Похоже, жизнь вылепила его философом. На ежедневные письма и сообщения из Рима он почти не обращает внимания — скорее гражданин некоей вечной республики духа, чем Римской республики, которую оскопила диктатура Цезаря. Некогда учитель земных законов, сейчас он постиг горькую тайну, которую должен, в конце концов, узнать каждый общественный деятель: на длительное время защитить свободу масс невозможно, защищать можно и нужно лишь свою собственную внутреннюю свободу.

Так гражданин мира, гуманист, философ Марк Туллий Цицерон проводит благословенное лето, творческую осень, итальянскую зиму в отдалении — как он предполагает, навсегда в отдалении — от преходящей политической суеты. Ежедневные вести и письма из Рима он едва просматривает, равнодушный, безразличный к игре, в которой более не принимает участия. Похоже, он стал гражданином некой невидимой республики, а не той, которая коррумпирована, изнасилована и не в состоянии

противостоять террору. Но вот однажды, в мартовский полдень, в дом Цицерона врывается запыхавшийся, покрытый пылью гонец. Он едва в состоянии сообщить: «На форуме Рима убит Юлий Цезарь, диктатор», — и падает замертво на пол.

Цицерон бледнеет, еще несколько недель назад он сидел с великодушным победителем за этим столом, и тот язвительно, даже враждебно говорил о своем опасном превосходстве, скептически оценивал свои военные триумфы, но все же Цицерон, побуждаемый внутренним суеверным духом, тайно чтит организаторский гений и гуманность своего единственного врага, внушающего ему уважение. Но при всем отвращении к вульгарным аргументам народа-убийцы разве сам Юлий Цезарь, со всеми его заслугами и достоинствами, не пытался совершить самое чудовищное из всех убийств — *parricidium patriae*, убийство родины? Не был ли гений Цезаря опасностью для римской свободы? Если смерть его по-человечески и прискорбна, то все же преступление содействует победе священного дела, ибо, поскольку Цезарь мертв, республика может снова возродиться и через эту смерть восторжествует благороднейшая идея, идея свободы.

Так преодолевает Цицерон свой первый испуг. Он не желал этого коварнейшего преступления — впрочем, возможно, в глубине души не раз и отваживался желать. Хотя Брут, вырывая окровавленный кинжал из груди Цезаря, выкрикнул его, Цицерона, имя и тем самым открыл того, кто внушил ему республиканские взгляды и этим как бы поддержал его поступок, но все же Брут и Кассий не посвятили его в тайну заговора. Теперь же, когда преступление уже свершено, его следует по крайней мере использовать для блага республики. Цицерон приходит к выводу: чтобы вернуться к старой римской свободе, следует переступить через этот царственный труп, и его, Цицерона, долг указать другим путь к свободе. Нельзя упустить этот неповторимый миг. В тот же день Цицерон покидает свои книги, свои рукописи, свой священный покой художника. С сильно бьющимся сердцем спешит он в Рим, чтобы спасти республику, подлинное наследие Цезаря, спасти ее как от его убийц, так и от его мстителей.

Цицерона встречают сбитые с толку, ошеломленные и растерянные жители Рима. Уже в час свершения преступления стало очевидно, что оно само по себе значительнее людей, свершивших его. Только убить, только устранить смогла наскоро собранная кучка заговорщиков, убить человека, превосходящего их во всем. А теперь, когда следовало воспользоваться плодами содеянного, беспомощные, стоят они и не знают, что предпринять. Сенаторы колеблются, одобрить ли убийство или осудить его, народ, давно привыкший к мелочной опеке твердой рукой, не решается высказать свое мнение. Антоний и другие друзья Цезаря боятся заговорщиков, трясутся за свою жизнь. А заговорщики боятся друзей Цезаря, боятся их мести.

В этом общем замешательстве единственным, проявившим решимость, оказывается Цицерон. Обычно сомневающийся и боязливый, как все нервные люди и люди духа, он, колеблясь, выступил с оправданием свершившегося убийства, в котором никакого участия не принимал. Смело выходит он на еще влажные от крови каменные плиты и славит перед собравшимся сенатом устранение диктатора как победу республиканской идеи. «О мой народ, ты вновь вернулся к свободе,— восклицает он.— Брут и Кассий, вы свершили великое дело не только для Рима, но для всего мира». Одновременно он требует, чтобы это — само по себе злодейское — преступление рассматривалось лишь с точки зрения его высокой цели. Заговорщики должны энергично захватить власть в Риме, после смерти Цезаря оставшемся без руководства, им следует немедленно предпринять все для спасения республики, для восстановления старых римских законов. Антоний должен принять консульство, Бруту и Кассию следует передать исполнительную власть. Впервые человек Закона выступил за то, чтобы на один исторический миг нарушить закосневший закон — ради того, чтобы навсегда подчинить диктатуру закону.

Но здесь сказалась слабость заговорщиков. Лишь один акт они смогли подготовить, лишь совершить убийство. Им достало сил вонзить кинжалы на пять дюймов в глубь тела безоружного — но этим их решимость оказалась исчерпанной. Вместо того чтобы захватить

власть и использовать ее для восстановления республики, они стали домогаться амнистии и вести переговоры с Антонием; они дали друзьям Цезаря возможность собраться и, таким образом, упустили драгоценное время. Цицерон прозорливо чувствует опасность. Он видит, что Антоний готовится к ответному удару, который должен покончить не только с заговорщиками, но и республиканскими устремлениями народа. Цицерон предупреждает, горячо убеждает, выступает с речами, защищая заговорщиков, стремится побудить народ к решительным действиям. Но — ошибка, присущая людям во все времена! — сам он не действует. Все возможности теперь у него в руках. Сенат готов поддержать его, народ лишь ждет человека, который решительно и смело взял бы в руки бразды правления, выпавшие из крепких рук Цезаря. Никто не противился бы этому, все бы с облегчением вздохнули, если бы он захватил сейчас власть, обеспечил порядок в городе, пораженном хаосом.

Наконец-то через много лет после речи против Каталины в мартовские иды 44 года для Марка Туллия Цицерона наступил час всемирно-исторического значения, час, так страстно им ожидаемый. Он знал, как следует использовать это мгновение,— нам всем в школе рассказывали об этом событии совсем не так, как оно происходило на самом деле. В анналах Ливия, в жизнеописаниях Плутарха Цицерон упомянут не просто как один из значительных писателей Древнего мира, а как истинный гений римской свободы. Ему принадлежит бессмертная слава — именно он на форуме Рима открыто заявил: «Власть следует отобрать у диктатора и вернуть ее народу».

Вновь и вновь в истории повторяется трагедия, когда человек духа, казалось бы внутренне обязанный взять на себя ответственность, в решающий час столь редко становится человеком поступка. Вновь и вновь в человеке духа, в творческой личности рождается раздвоенность. Он лучше других современников видит безумие мира, его тянет вмешаться, и, повинаясь порыву, он со страстью бросается в политическую борьбу. Но в то же время он и колеблется, он не уверен, следует ли отвечать насилием на насилие. Присущая ему внутренняя ответственность заставляет его бояться прибегать к насилию, к террору, проливать кровь. И это колебание, эта боязнь совершить нечто непоправимое — чувства, поразившие его именно в этот единственный, решающий час,— не только запрещают ему проявить беспощадность, но и вообще парализуют его силы. После первых признаков воодушевления Цицерон с опасной прозорливостью оценивает сложившееся положение. Он смотрит на заговорщиков, которых еще вчера прославлял как героев, и видит, что они всего лишь малодушные люди, бегущие от тени свершенного ими поступка. Он смотрит на народ и видит, что тот уже давно ничем не похож на *populus romanus*, прежний героический римский народ, о котором он мечтал,— теперь это выродившийся плебс, думающий лишь о своей выгоде, о своих удовольствиях, требующий *panem et circenses* — хлеба и зрелищ, народ, сегодня с восторгом приветствующий Брута и Кассия, убийц, завтра — Антония, призывающего к мести за убийство, а на третий день — Долабеллу, топчущего изображение Цезаря. Цицерон понимает: никто в этом городе выродившихся людей уже не служит честно идее свободы. Все они хотят власти или наслаждений — напрасно был устранен Цезарь, ибо все они теперь наперебой спорят о его наследстве, о его деньгах, его легионах, его власти; лишь для себя, а не для священного римского дела ищут они выгод и пользы.

По прошествии двух недель после его неосторожного энтузиазма Цицероном овладевают усталость и неверие: никого более не волнует идея восстановления республики, национальное чувство угасло, понятие свободы исчезло. И он начинает испытывать отвращение к этой мерзкой сумятице. Он не питает более иллюзий относительно убедительности своих речей в оправдание убийства Цезаря. Чтобы спасти родину от гражданской войны, он сыграл роль примирителя, сыграл ее неудачно — либо недостаточно убедительно, либо без должного мужества. Страну он предоставляет своей судьбе. В начале апреля Цицерон покидает Рим и возвращается — вновь разочарованный — к своим книгам, в свою уединенную виллу, в поместье, что в местечке ПUTEОЛЫ у Неаполитанского залива.

Вторично бежит Марк Туллий Цицерон из мира в свое одиночество. Теперь он наконец понял, что как ученый, как гуманист, как хранитель законов он с самого начала оказался

бессильным в сфере, где сила является правом и отсутствие совести ценится выше мудрости и миролюбия. Потрясенный, он вынужден признать, что та идеальная республика, которую он в грезах своих хотел бы дать родине, что восстановление старой римской нравственности — в эти изнеженные времена нереальны. Но поскольку сопротивляющийся материал не поддается его усилиям, он хочет по крайней мере спасти так страстно желаемое, свою мечту, для более мудрых людей будущего; не должны, не могут бесследно исчезнуть усилия, мечты, надежды, опыт, накопленный шестидесятилетним человеком,— нельзя им пропасть с его смертью. И, оценив свои силы, этот сломленный человек решает оставить последующим поколениям завещание. Так, в эти дни своего одиночества он создает последнее и самое значительное свое произведение — «De officiis» («Об обязанностях»), учение об обязанностях человека перед собой и перед своим государством, обязанностях, которые должен исполнять независимый, нравственный человек. Это политическое и моральное завещание было написано Марком Туллием Цицероном в ПUTEОЛАХ осенью 44 года, осенью его жизни.

Сама форма трактата свидетельствует о том, что это произведение о взаимоотношениях индивидуума и государства является завещанием, последним словом человека, ушедшего от общественной жизни и отказавшегося от всех политических пристрастий. Этот труд адресуется автором сыну. Цицерон откровенно признается в том, что отстранился от общественной жизни не из безразличия к ней, а потому лишь, что, как свободомыслящий человек, как римский республиканец, считал служение диктатуре невозможным, несовместимым со своим достоинством, со своей честью. «Пока государство еще управлялось людьми, которых оно само выбирало, я посвящал свои силы, свой ум *res publica*. Но с тех пор как все оказалось под *dominatio unius*, властью одного человека, уже не осталось возможности служить обществу или авторитету». С тех пор как был упразднен сенат и закрылись суды, что мог бы он делать в сенате или на форуме, сохраняя самоуважение? Теперь же ему недоступна общественная, политическая деятельность. «*Scribendi otium pop erat*» («пишущий досуга не имеет») и он не может излагать в законченной форме свое мировоззрение. Но однако, оказавшись в вынужденном бездействии, он желает это свое бездействие по крайней мере использовать, следуя великолепным словам Сципиона, который «говаривал, что он никогда не пользуется досугом в меньшей степени, чем тогда, когда он им пользуется, и никогда не бывает менее один, чем тогда, когда он один».

Излагаемые в трактате мысли об отношении индивидуума к государству часто не новы и не оригинальны. Автор связывает прочитанное им со своим опытом: и в шестьдесят лет диалектик не всегда становится писателем, компилятор — творческой личностью. Однако на этот раз воззрения Цицерона — и это ощущается по тону печали и горькой обиды — проникнуты иным пафосом. Во время кровавых гражданских войн, во время, когда орды преторианцев и партийных бандитов борются за власть, ум истинного гуманиста, осознавшего значимость нравственных ценностей и идеи терпимости — а таких, как всегда, в подобные времена единицы,— вновь грезит о вечной мечте, о спокойствии в мире. Справедливость и закон — лишь они должны быть незыблемыми опорами государства. Властью в государстве должны обладать внутренне порядочные люди, а не демагоги, и тем самым будет обеспечиваться соблюдение законов. Никто не вправе навязать народу свою волю, свой произвол, и поэтому долгом и обязанностью каждого гражданина Рима является неподчинение воле любого подобного честолюбца, «*hoc omne genus pestiferum acque impium* — всего этого коварного, нечестивого племени, стремящегося лишить народ власти. С ожесточением Цицерон, непреклонный защитник независимости, отвергает любую связь с диктатором, любую службу под его руководством. «*Nulla est enim societas nobis cum tyrannis et potius summa distractio est*».

Цицерон утверждает: деспотизм насилует любое право. Истинная гармония в любом обществе может возникнуть лишь тогда, когда находящиеся у власти люди будут интересы общества ставить выше личных выгод, которые они могли бы получить благодаря своему положению. Общество выздоровеет лишь тогда, когда государство перестанет в роскоши и

расточительстве проматывать свои материальные ценности, а будет распоряжаться ими разумно, претворяя их в ценности духовные и художественные, когда аристократия откажется от своего высокомерия, а плебс, вместо того чтобы принимать взятки от демагогов и продавать государство какой-нибудь одной партии, потребует свои естественные права. Подобно всем гуманистам, сторонник середины, Цицерон требует уравнивания имущественных и правовых контрастов. Рим не нуждается ни в каком Сулле, ни в каком Цезаре, ни в каком Гракхе: диктатура опасна, опасна и революция.

Многое из того, о чем пишет Цицерон, сказано было Платоном в «Государстве», а теперь можно прочесть у Жан-Жака Руссо, в работах всех идеалистических утопистов. Но завещание Цицерона поразительным образом возвышает его над своим временем, ибо в нем заключено некое новое чувство, которое за несколько десятков лет до возникновения христианства впервые нашло выражение в слове — чувство гуманизма. В эпоху жестоких зверств, когда даже Цезарь, завоевав город, дает приказ отрубить руки двум тысячам пленников, когда пытки и гладиаторские бои, ежедневные казни и убийства обыденны, поднимается первый и единственный протест Цицерона против любого злоупотребления властью. Он осуждает милитаризм и империализм своего народа, эксплуатацию провинций и требует, чтобы страны никогда не присоединялись к Римскому государству мечом, а единственно лишь через распространение культуры и обычаев. Он решительно высказывается против разграбления завоеванных городов и требует — для тогдашнего Рима это требование абсурдно — милосердия по отношению к бесправнейшим из неправых, к рабам: «Adversus infirmus justitia esse servandum. Провидческим оком он видит гибель Рима из-за его побед, слишком быстро следующих одна за другой, из-за ненормальных, исключительно насильственных, завоеваний мира Римом. Начиная с диктатуры Суллы нация начала вести войны лишь ради трофеев. Ради добычи в государстве утрачена законность. И всегда, когда народ силой отнимает свободу у другого народа, боги таинственным образом мстят ему — он лишается своей собственной удивительной силы, силы одиночества.

Ради проходящих иллюзий империи ведомые тщеславными военачальниками легионы завоевывают Парфию и Персию, Германию и Британию, Испанию и Македонию, и в своем трактате Цицерон поднимает одинокий голос против этих опасных успехов: он видит, что кровавый посев завоевательных войн даст более кровавый урожай гражданских войн, и бессильный защитник человечности торжественно заклинает своего сына чтить как высший и важнейший идеал тесное *adiumenta hominum*, взаимодействие людей. И вот человек, слишком долго бывший ритором, адвокатом и политиком, ради денег и славы с равно блестящим мастерством защищавший и правое и неправое дело, человек, который вмешивался в любое дело, добивался богатства, официального признания своих действительных и мнимых заслуг, рукоплесканий народа, наконец-то в осень своей жизни пришел к этому осознанию истины. Перед своей кончиной Марк Туллий Цицерон, до сих пор лишь гуманист, становится первым защитником гуманизма.

В то время как Цицерон в своем уединении таким образом спокойно и невозмутимо продумывает смысл и форму нравственной конституции государства, в Римской империи растет беспокойство. Ни сенат, ни народ все еще не решили, следует ли убийц Цезаря восхвалять или подвергать изгнанию. Антоний вооружается для войны против Брута и Кассия и неожиданно становится претендентом на власть, хочет оттеснить Октавиана, которого Цезарь назначил своим наследником и который уже сейчас действительно может принять это наследие. Едва вернувшись в Италию, Октавиан пишет Цицерону, желая получить его поддержку, но одновременно Антоний просит Цицерона приехать в Рим; в свои военные лагеря зовут Цицерона также Брут и Кассий. Все они заискивают перед прославленным адвокатом, прося его защитить их дело, все они просят знаменитого оратора, чтобы тот сделал их неправое дело правым; как каждый политик, стремящийся к власти, но пока ее не добившийся, они ищут поддержку у человека духа (которого затем с пренебрежением отбросят в сторону), и будь Цицерон прежним тщеславным, амбициозным политиком, он дал бы себя уговорить.

Но Цицерон и устал, и — обогатившись жизненным опытом — стал более мудрым, а усталость и мудрость нередко страдают опасным сходством. Он знает, что для него важнее всего сейчас — завершить свой трактат, навести порядок в своей жизни, в своих мыслях. Подобно тому, как Одиссей перед пением сирен заткнул свои уши, он плотно закрывает свое внутреннее ухо, чтобы не слышать манящие голоса, не откликается на зовы Антония, Октавиана, Брута и Кассия и даже призывы сената и своих друзей, он пишет, чувствуя, что становится сильнее в слове, чем в действии, и мудрее в одиночестве, чем в кругу друзей. Он пишет, пишет свою книгу, предчувствуя, что она станет его прощальным словом этому миру.

Лишь дописав свое завещание, он оглядывается. Положение в стране скверное. Его родина стоит на пороге гражданской войны. Антонию, захватившему деньги Цезаря и храма, удалось на эти украденные деньги собрать войско. Но ему противостоят три армии, и каждая хорошо вооружена, — это армии Октавиана, Лепида и Брута с Кассием. Слишком поздно сейчас заниматься посредничеством, примирением враждующих сторон, теперь решается, будет ли над Римом господствовать новый цезаризм, цезаризм Антония, или возродится республика. В этот час каждый должен принять для себя решение. И очень осторожный, предусмотрительный человек, всегда искавший уравниновешенности, стоявший между партиями или робко колеблющийся между ними, Марк Туллий Цицерон тоже должен принять окончательное решение.

И происходит странное. Едва Цицерон передал сыну свое завещание, трактат «Об обязанностях», он, пренебрегая жизнью, вновь обретает мужество. Он знает, что его политическая, его литературная карьера завершена. То, что он хотел сказать, — он сказал, жить ему осталось не слишком долго. Он стар, свое дело сделал, так стоит ли защищать остаток жизни? И подобно тому, как до полусмерти загнанный зверь, чувствующий за спиной лай охотничьих собак, внезапно поворачивается и кидается на них, чтобы ускорить свой конец, Цицерон, поистине презирая смерть, бросается в самую гущу битвы, в самое опасное место. Месяцы и годы имея дело лишь с безмолвным грифелем, он вновь берет на вооружение громовые стрелы ораторского искусства и мечет их во врагов республики.

Потрясающая картина: в декабре этот убеленный сединами человек вновь стоит на форуме Рима, чтобы еще раз призвать римлян достойно выказать уважение своим предкам, *She most virtusque majoram*. Прекрасно осознавая опасность выступления безоружным против диктатора, собравшего вокруг себя вооруженные, готовые к походу и убийствам легионы, Цицерон мечет громы и молнии своих четырнадцати «филиппик» против узурпатора Антония, отказавшегося подчиниться сенату. Но тот, кто хочет призвать к мужеству других, убедителен лишь тогда, когда сам обладает мужеством. Цицерон знает, что сейчас на этом форуме он не праздно, как прежде, фехтует словами, а рискует жизнью за свои убеждения. Решительно признаётся он, стоя на трибуне перед рострой: «Я защищал республику еще молодым человеком, не изменю я ей и постаревший. С радостью готов отдать свою жизнь, если моя смерть поможет восстановить свободу нашему городу. Единственное мое желание — умирая, оставить римский народ свободным. Большой милости бессмертные боги не могли бы мне дать». Настойчиво убеждает он народ и сенат, что сейчас нельзя терять время на переговоры с Антонием. Следует поддержать Октавиана, защищающего дело республики, хотя он и кровный родственник и наследник Цезаря. Сейчас речь идет не о человеке, а о деле, о святом деле — *res in extremum est adducta discrimen: de libertate decernitur*, — о деле, по которому следует принять последнее и чрезвычайно важное решение, речь идет о свободе. Когда это священнейшее наследие находится под угрозой, всякие колебания губительны. Цицерон требует изгнания узурпатора и, убежденный противник войн, ненавидя их — через полторы тысячи лет Эразм, как и его учитель Цицерон, также будет ненавидеть «tumultus», смятение, которое несет война, — настаивает на формировании армии для защиты республики от диктатуры.

В четырнадцати филиппиках, в четырнадцати речах Цицерон — уже не адвокат, выступавший в подчас сомнительных, нечистых процессах, а защитник благородного дела — находит поистине великолепные, волнующие слушателей слова. «Пусть другие народы

живут, если им это нравится, в рабстве,— обращается он к согражданам,— мы, римляне, этого не хотим. Не завоевав свободу, мы умрем». Если государство действительно дошло до последнего унижения, то народу, который завоевал мир (*nos principes orbium terrarum gentiusque omnium*), подобает вести себя так, как ведут себя на арене ставшие рабами гладиаторы,— лучше умереть, глядя врагу в лицо, чем дать прикончить себя как скот. «*Ut cum dignitate potius cadamus quam cum ignominia serviamus*» — предпочесть смерть в бою жизни в позоре.

Пораженный, слушает сенат, слушает собравшийся народ эту филиппику. Иные, возможно, знают, что такие слова осмеливались говорить на рынках лишь сотню лет назад. Скоро стране цезарей придется лишь раболепно преклоняться перед мраморными статуями императоров, и вместо прежних свободных речей разрешен будет только шепот льстецов и доносчиков. Трепет охватывает слушателей, трепет вызванный и страхом, и восторгом перед этим старым человеком, который с отчаянным мужеством, хотя и потеряв в душе всякую надежду, защищает независимость людей духа и законы республики. Колеблясь, они соглашаются с ним. Но пылающие факелы воодушевляющих слов уже не в состоянии зажечь обратившиеся в труху основы римской гордости. И пока этот одинокий идеалист проповедует на рынках благородство самопожертвования, за его спиной бессовестные повелители легионов уже заключают постыднейшее в римской истории соглашение.

Тот самый Октавиан, которого Цицерон славил перед сенатом как защитника республики, тот самый Лепид, статуя которого за заслуги перед римским народом Цицерон требовал установить в Риме, ибо Октавиана и Лепида он отличал, полагая, что они помогут отстранить от власти узурпатора Антония,— оба они сейчас предпочитают действовать в своих личных интересах. Поскольку ни один из трех военачальников — ни Октавиан, ни Лепид, ни Антоний — не имеет достаточных сил, чтобы в одиночку овладеть Римским государством, эти смертельные враги приходят к соглашению разделить между собой наследство Цезаря; вместо великого Цезаря Рим внезапно получил трех ничтожных цезарей.

Наступает всемирно-исторический миг — вместо того чтобы подчиниться сенату и соблюдать законы римского народа, три полководца объединяются, чтобы, создав триумvirат, разделить так легко доставшуюся им военную добычу — гигантское, охватывающее три части света, государство. На небольшом островке под Бононией у слияния рек Рено и Лавино, разбивается палатка, в которой должны встретиться три преступника. Само собой разумеется, каждый из этих трех военачальников ненавидит остальных двух. Очень часто они в своих прокламациях называли друг друга негодяем, лжецом, узурпатором, врагом государства, вором, разбойником, не очень заботясь о том, насколько справедливо то или иное обвинение. Но людям, обуреваемым жаждой власти, важна лишь власть, а не убеждения, добыча, а не честь. Приняв серьезные меры предосторожности, партнеры приближаются в согласованном месте друг к другу, и лишь после того, как будущие властелины мира убедятся в том, что ни один из них не имеет при себе оружия, чтобы прикончить нового союзника, они обмениваются дружескими улыбками и входят в палатку, где должно быть заключено соглашение о создании триумvirата.

Три дня Антоний, Октавиан и Лепид без свидетелей находятся в этой палатке. Им следует решить три вопроса. Во-первых, надо определить, как разделить мир между собой,— это вопрос они решают быстро. Октавиан должен получить Африку и Нумидию, Антоний — Галлию, а Лепид — Испанию. Решение второго вопроса также не доставляет им много хлопот: как раздобыть деньги для жалованья легионеров и партийных прихвостней, которое уже несколько месяцев не выплачивается. Проблема решается быстро — деньги будут получены способом, который в те времена часто применялся. У наиболее богатых людей страны будет захвачено имущество, а для того чтобы те не могли поднять по этому поводу шум, их сразу уничтожат. Удобно расположившись за столом, три человека составляют проскрипционный список (официальное оповещение о лицах, поставленных вне закона), включивший в себя две тысячи имен наиболее богатых людей Италии, среди них — сто сенаторов. Каждый называет тех, кого знает, в том числе своих личных врагов и

противников. Таким образом, после решения территориального вопроса новым триумvirатом быстро и полюбовно был разрешен и вопрос экономический.

Затем триумвиры приступают к решению последнего вопроса. Тот, кто хочет учредить диктатуру и желает быть уверенным в своем господстве, должен прежде всего принудить к молчанию вечных противников любой тирании — независимых людей, защитников неистребимой утопии: права на духовную свободу. Первое имя в этот последний список вносит Антоний — имя Марка Туллия Цицерона. Этот человек узнал истинную сущность Антония и открыто сказал об этом. Он опаснее всех, потому что обладает силой духа и волей к независимости. Его следует убрать с дороги.

Октавиан пугается и сопротивляется. Еще молодой, не окончательно очерствевший в горниле подлой политики, он боится начать карьеру властелина с убийства знаменитейшего писателя Италии. Цицерон был самым преданным его защитником, прославлял его перед народом и сенатом; всего несколько месяцев назад Октавиан смиренно обращался к Цицерону за помощью, за советом и с глубоким уважением называл старого человека своим «истинным отцом». Октавиану стыдно, и он упорствует в своем сопротивлении. Следуя правильному инстинкту, что делает ему честь, он не хочет отдать мерзкому кинжалу наемного убийцы этого прославленного знатока латинского языка. Но Антоний настаивает, он отчетливо представляет себе, что дух и власть вечно враждуют между собой и никто не может быть опаснее для диктатуры, чем человек, великолепно владеющий словом. Три дня идет борьба за голову Цицерона. Наконец Октавиан уступает, и имя Цицерона завершает едва ли не самый постыдный документ римской истории. Этим и проскрипционным списками выносятся окончательный смертный приговор республике.

В час, когда Цицерон узнает об объединении трех прежде заклятых врагов, он уже понимает, что обречен. Цицерон очень хорошо знает, что грабитель Антоний, которого Шекспир напрасно облагородил, клеймен каленым железом слова и настолько поражен низкими инстинктами ненависти, тщеславия, лютости, бессовестности, что не может рассчитывать на великодушное отношение к себе такого жестокого насильника, как Цезарь. Если Цицерон хотел спасти свою жизнь, то единственно логичным действием для него стало бы немедленное бегство. Ему следовало бежать в Грецию к Бруту и Кассию, к Катону, в последний военный лагерь республиканской свободы, там он, по крайней мере, получал защиту от уже посланных к нему наемных убийц. И действительно, поставленный вне закона человек дважды, трижды пытается бежать. Он готовится к бегству, уведомляет об этом друзей, садится на корабль и отправляется в путь. Но вновь и вновь Цицерон в последний момент прерывает плавание и возвращается назад; кто однажды узнал безотрадность изгнания, тот испытывает наслаждение даже в опасности, грозящей ему на родине, чувствует недостойность жизни в вечном бегстве.

Таинственная воля, лежащая по ту сторону здравого смысла, более того, вопреки здравому смыслу, понуждает Цицерона подчиниться ожидающей его судьбе. Еще несколько дней отдыха жаждет человек, уставший от своего уже обреченного существования. Немного поразмышлять, написать несколько писем, прочесть две-три книги — и пусть свершится то, что ему определено. Эти последние месяцы Цицерон скрывается то в одном, то в другом своем поместье, каждый раз меняя укрытие, едва появляется опасность, но так полностью от нее и не избавившись. Словно человек в горячке, который беспрестанно меняет подушки, Цицерон постоянно меняет эти свои ненадежные укрытия, не в силах решить окончательно, выйти ли ему навстречу своей судьбе или уклониться от нее; этой готовностью принять смерть он как бы неосознанно желает следовать той норме поведения, сформулированной им в трактате «De senectute («О старости»), согласно которой старому человеку не следует ни искать смерти, ни избегать ее, а когда она придет — спокойно принять ее. Neque turpis mors forti viro potest accedere: для сильного духом не существует постыдной смерти.

Поэтому, уже на пути к Сицилии, Цицерон внезапно приказывает своим людям опять повернуть назад к враждебной Италии и высаживается в Кайете, нынешней Газте, где у него имеется небольшое поместье. Усталость не только членов и нервов, усталость от жизни и

таинственная тоска по смерти, по своей земле одолели его. Лишь бы еще раз отдохнуть. Еще немного подышать сладким воздухом родины, проститься с ней, проститься с миром, отдохнуть, успокоиться — пусть день или всего лишь час!

Едва высадившись на берег, он благоговейно поклоняется священным ларам (хранителям домашнего очага). Он устал, шестидесятичетырехлетний старик, морское путешествие утомило его, он растягивается в *cubiculum* и закрывает глаза, чтобы насладиться в мягком сне вечным покоем.

Но едва Цицерон лег, в помещение вбегает преданный раб. Возле дома он увидел подозрительных людей с оружием; на протяжении многих лет Цицерон был добр к домоправителю своего поместья. И в благодарность за это тот сговорился с убийцами, предал своего хозяина. Цицерон мог бы бежать, быстро скрыться, носилки готовы, рабы хотят вооружиться и задержать убийц на время, пока он короткой дорогой не доберется до судна, где окажется в безопасности. Старый, обессиленный человек отказывается. «К чему это? — говорит он. — Я слишком устал, чтобы бежать, я устал жить. Дай мне умереть здесь, в стране, которую я спасал». Все же старый слуга убеждает его. Вооруженные рабы несут носилки к берегу окольным путем через маленький лесок к спасительному кораблю.

Но предатель, домоправитель его поместья, не хочет потерять полученные им позорные деньги, он быстро зовет центуриона. Тот с несколькими воинами бежит за носилками и догоняет свою жертву.

Вооруженные слуги окружают носилки и готовятся к сопротивлению. Но Цицерон приказывает им отступить. Свою жизнь он уже прожил, к чему же жертвовать другими, более молодыми жизнями? В этот последний час у вечно колеблющегося, неуверенного в себе и лишь изредка выказывающего мужество человека нет никакого страха, он чувствует, что показать себя истинным римлянином может лишь в последнем испытании, если он *sapientissimus quisque aequissimo animo moritur* — прямо пойдет навстречу смерти. По его приказу слуги отходят от носилок. Безоружный, без сопротивления он подставляет седую голову убийцам с высокими, продуманными словами: «*Non ignoravi me mortalem geniuses* — «Я всегда знал, что родился смертным». Но убийцам не философия нужна, им нужны деньги. Они не медлят. Сильным ударом меча центурион поражает беззащитного человека.

Так умирает Марк Туллий Цицерон, последний защитник римской свободы, проявивший в этот свой последний час больше героизма, мужества и решительности, чем в тысячи и тысячи часов прожитой им жизни.

За трагедией следует кровавый фарс. Из-за настойчивости, с которой Антоний требовал именно этой смерти, убийцы предположили, что голова их жертвы должна иметь особую ценность — естественно, не ценность для духовной культуры современного им мира и мира людей будущего, а скорее особую ценность для заказчика кровавого преступления. Чтобы тот не усомнился в выполнении своего приказа, они решили представить ему убедительное доказательство — передать лично Антонию голову убитого. Сунув голову и отрубленные руки в мешок, палачи спешат с кровоточащей ношей в Рим, чтобы обрадовать диктатора сообщением: с преданнейшим защитником Римской республики покончено общепринятым способом.

И мелкий палач, центурион, рассчитал правильно. Большой палач, приказавший совершить убийство, не скупясь оплачивает свою радость. Теперь, когда Антоний ограбил и убил две тысячи самых богатых людей Италии, он может наконец проявить щедрость. Миллион сестерций дает он центуриону за окровавленный мешок с оскверненной головой и отрубленными руками Цицерона. Но жажда мести Антония еще не утолена, тупая ненависть кровопийцы к убитому измышляет для Цицерона особое бесчестие — Антоний не понимает, что этот поступок на вечные времена обесчестит его самого. Антоний приказывает голову и руки Цицерона прибить гвоздями к ростре, что возвышается над трибуной оратора, с которой Цицерон призывал народ защищать римскую свободу против Антония.

На следующий день римскому народу было явлено позорное зрелище. Над кафедрой оратора, с которой Цицерон произносил свои бессмертные речи, висит мертвенно-бледная

голова последнего защитника свободы. Огромный ржавый гвоздь протыкает лоб, за которым рождались тысячи мыслей; горько сжаты бескровные губы, которые лучше любого другого чеканили литые латинские фразы; бледные веки закрывают глаза, многие десятилетия бдительно наблюдавшие за республикой; бессильно висят руки, писавшие изумительнейшие письма своего времени.

Но никакие обвинения власти в жестокости, безумной ярости, беззаконии, высказанные с этой трибуны великим оратором, не говорят так убедительно против вечного бесправия, чинимого властью, как его немая голова: в страхе теснятся люди у опозоренной ростры, подавленные, посрамленные отходят в сторону, уступая место другим. Никто не решится — диктатура! — на протест, но спазмы сжимают их сердца, и, потрясенные, они опускают глаза долу перед этим трагическим символом их распятой республики.